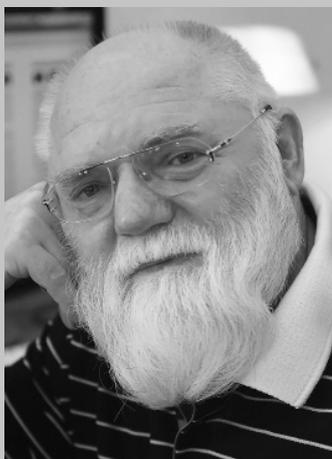


ПИСАТЕЛИ РОССИИ XXI века

Виктор СЛИПЕНЧУК и Александр БАЛТИН беседуют после состоявшихся Белградской и Бакинской книжных ярмарок, делятся впечатлениями, которые остались после мероприятий.

Виктор СЛИПЕНЧУК,
Москва



Слипенчук Виктор Трифионович родился 22 сентября 1941 года в Приморском крае. Служил в армии. Имеет ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Жил на Алтае. Работал геологоразведчиком, зоотехником, матросом, рыбоводом, строителем, журналистом. Первое стихотворение опубликовал в 14 лет. В 1982 году принят в Союз писателей СССР. После окончания Высших литературных курсов направлен на усиление Новгородской писательской организации. Руководил областным литературным объединением. Был редактором радиожурнала «Литературный Новгород» и газеты «Вече». С 1996 года живёт в Москве. В 2009 году избран членом-корреспондентом Академии русской словесности. Обладатель Золотой Есенинской медали «За верность традициям русской культуры и литературы». В 2013 году награждён монгольским орденом «Слава Чингисхана» и избран академиком Международного университета имени Чингисхана. Автор поэтических книг: «Свет времени», «Путешествие в Пустое место», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Чингис-Хан». Книги прозы: «Огонь молчания», «Зинзивер», «Звёздный Спас» и другие. Его произведения переведены на японский, китайский, монгольский, украинский, сербский, вьетнамский и французский языки.

Александр БАЛТИН,
Москва



Балтин Александр Львович родился в Москве в 1967 году. Систематического образования не получил. Впервые опубликовался как поэт в 1996 году в журнале «Литературное обозрение», как прозаик – в 2007 году в журнале «Florida» (США), как литературный критик – в 2016 году, в газете «Литературная Россия». Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5-ти томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 150 изданиях России, Украины, Беларуси, Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Франции, Израиля, Эстонии, Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США. Среди других произведения А. Балтина публиковали журналы «Юность», «Москва», «Наш современник», «Невский альманах», «Вестник Европы», «Русская мысль», «День и ночь», «Литературная учёба», «Север», «Дон», «Крещатик», «Дальний Восток», «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы», «Независимая газета», «Московский комсомолец», «Труд», «Советская Россия», альманахи «Истоки», «Предлог», «День поэзии», антология «И мы сохраним тебя, русская речь...».

ТАИНСТВА РИФМЫ

Жизнь, определяемая словом и действием; жизнь, наполненная словом, как деянием – такова жизнь Виктора Слипенчука: прозаика и поэта, драматурга и эссеиста, а в прошлом – моряка, прошедшего годы водного, сложного, морского труда.

Сложность и яркость пережитого, слагаясь и спрессовываясь в многослойный опыт, определяют и высоту словесного искусства: опыт, пропускаемый через фильтры дара, блистает метафизическим золотом, увлекая в мистерию поэзии, прозы, драматургии, публицистики...

Вопросы подготовил и задавал Александр БАЛТИН.

– Виктор Трифионович, вам не раз доводилось бывать в разных точках мира с книжной миссией, представляя свои издания, приглядываясь к изданиям разных авторов, встречаясь с писателями. Недавно прошедшие Бакинская и Белградская ярмарки чем запомнились? Сколь яркие впечатления оставили в душе? Можно ли их сопоставить, и если да, то какая отозвалась ярче, дала больше?

– Александр Львович, логика здесь ни при чём.

Все ярмарки схожи между собой, потому что в основе их – внешний блеск. Умение в выгодном свете пред-

ставить ту или иную книгу. И здесь начинаются различия, диктуемые географическим расположением страны и тяготением её народа. Мне довелось представлять свои книги во многих странах, и всюду, скажем так, эти два пункта были определяющими. То есть влияние политических сил, наверное, всегда имело место быть, но оно не было заметным. Теперь, после 2014 года, это влияние стало заметным. Конечно, Сербия как православная европейская страна мне ближе. Тем не менее Азербайджан в сравнении с Сербией произвёл на меня, говоря вашим языком, более яркое впечатление. И прежде всего,

как мне кажется, своим, более устойчивым, вниманием к русской книге. Имею в виду, что внимание элиты азербайджанского общества к той или иной русской книге легко передаётся, что называется, в народ. И этому содействуют не только СМИ, целые институты задействованы в этом направлении.

На ярмарке в Баку к нам (русской делегации) пришёл коллектив сотрудниц Бакинского славянского университета, и одна из них – Флора Наджи, доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета, заслуженный журналист Азербайджанской Республики, – подарила мне книгу «Тетрадь переводчика».

В обращении к читателю она говорит, что эта книга не антология, не хрестоматийный сборник, не тематическая подборка стихов.

«В эту «тетрадь» вошли нашедшие отклик в моей душе, задевшие мои чувства и мысли произведения самых разных авторов на самые разные темы. Они, как говорится, «легли на душу» и сами «напросились» на перевод. Здесь представлены стихи не только корифеев современной азербайджанской поэзии, не только признанных мастеров, но и только начинающих свой путь молодых поэтов».

Потом, после встреч у стенда книг, нашей русской делегации довелось выступать в Институте рукописей перед филологами профессорами, докторами – неизгладимое впечатление. Они на уровне повседневной работы следят за русской литературой. В Сербии и других близких нам по языку странах этого нет. Более того, как мне показалось, в последнее время не сербская элита поставляет новинки русского языка в народ, а народ через учителей русского языка (русский язык изучается в школах на уровне иностранного языка) оказывает некоторое благотворное влияние на свою элиту. Некоторое – потому что (находясь в окружении других европейских языков) прямой потребности в русском языке нет.

– Собрание сочинений – в определённом смысле монументальная цель, к которой стремится писатель, одолевая сопротивление материала жизни: превращая его постепенно в свои тома. Какие чувства вы испытали, когда вышло ваше собрание сочинений?

– Собрание сочинений никогда не было для меня монументальной целью, впрочем, ни монументальной, ни вообще никакой. Так получилось,

что со студенческой скамьи я хорошо читал стихи, и не только свои. И естественно, выступая с барнаульскими поэтами (Алтайский край), больше всех награждался горячими аплодисментами. Это вызывало ревность и зависть. Именно на этой почве некоторые алтайские поэты распространяли мнение, что стихи у меня плохие. Но я их читаю настолько хорошо, что любители поэзии не замечают убогости моих стихов. Это мнение поддерживалось и книжным издательством. Они опасались издавать мои произведения отдельной книгой. Смелая, независимая поэзия, как, впрочем, и проза, тогда были не в чести. Так что реакция на любое крупное издание своих произведений всегда была единственной – данная публикация наконец-то принесёт мне признание или это что-то недостижимое, о чём лучше не думать.

Седьмой том собрания сочинений полностью отдан поэзии. В нём опубликованы не только мои стихи, но и мои поэмы и баллады. Так что хорошо помню чувство – данная публикация наконец-то принесёт мне признание или и на этот раз придётся заново доказывать свою литературную состоятельность.

– Отдельно хотелось бы узнать о дополнительном, девятом томе, состоящем из эссеистики, посвящённой вашему творчеству, и множества фотографий, фиксирующих ваши разнообразные путешествия. Какие точки и области мира вам, много путешествовавшему писателю, наиболее близки?

– Вопрос сам по себе интересный и абсолютно не связан с книжным делом.

Это случилось в конце девяностых. Писатели-маринисты помогли мне с командировкой через Атлантику на теплоходе «Виктор Ткачёв». Моя задача состояла в том, чтобы интересно написать об этом путешествии для юношеского альманаха «Океан».

Время было не лучшее. Мы вышли из Мурманска. В порту горели автомобильные шины. Повсюду ощущался запах гари и всеобщего запустения. Страна разваливалась. Впервые покидая родной порт, хотелось поскорее выйти в открытое море, чтобы не видеть этого всеобщего безобразия.

Мы пересекли Атлантику.

У острова Ньюфаундленд мне довелось на рассвете, где-то в четыре часа утра, лицезреть зелёный луч. Редчайшее зрелище. В рассказе «Счастливчик» довольно подробно рассказываю об этом факте.

Вошли в устье судоходной реки Святого Лаврентия и практически с запада на восток пересекли всю Канаду. Пришвартовались в порту города Монреаль.

Начальство судна занималось документацией, мы привезли в Канаду колёсные трактора «Беларусь». Канадцы тут же, в порту, «прилепливали» им стеклянные кабины (мотор, колёса... вся начинка наша), но трактора было не узнать – конфетки.

В общем, мы, нас несколько человек (рядовой состав), выгреблись в город. Был жаркий июньский день. В парке, в прохладном закуточке, пацаны попросили меня подождать. Они решили прошвырнуться по магазинам. Я сел на лавочку. Кругом всевозможные цветы, запомнились розовые каллы. Поверх деревьев виднелся их знаменитый олимпийский дворец спорта, крышу которого держит что-то наподобие железного подъёмного крана. Я даже пересел на другую лавочку, чтобы это техническое убожество не мозолило глаза.

Теперь перед глазами стояли осенённые радугой фонтаны в виде огромных чаш, блюдец, прямоугольных и других геометрических фигур. Вода переполняла их, скатывалась на нижние тарелочки, и всё вокруг: плеск воды, волны радуги, цветы, кроны деревьев, кусты – всё-всё наполнялось и дышало шумом прохлады. И я погрузился в этот шум и стал как бы частью этого шума, полностью слился с ним. И помню вполне отчётливый неожиданный вскрик души: Господи, как хорошо, я – дома!

Может быть, потому, что мы тогда жили в Новгороде, меня посетило откровение, что именно таким способом древние строители безошибочно находили места, где надлежит ставить храм.

Как бы там ни было, уже в Роттердаме я заходил в парк, уединялся в расчёте ощутить подобный «вскрик». Ничего подобного. Казалось бы, Роттердам – Европа, ближе к дому, но нет. Глубоко убеждён, что существует особый магнетизм местности, который мы непременно будем учитывать, устраиваясь на жительство на той или иной планете.

К сожалению, а, может быть, к счастью, никаких своих книг в Канаде не издавал.

– Японский колорит... Широко представлены фотографии Японии. Близок ли вам японский поэтический минимализм? Не хотелось ли самому писать хокку и танки? Сколь своеобразно японское образ жизни повлияло на вас – если повлияло вообще?

– Нет, меня не интересовала японская поэзия в духе хокку и танки. Я был очарован прозой Сэй-Сёнагон «Записки у изголовья». По сути, благодаря этому своеобразному репортажу из X–XI веков о жизни и становлении японцев как нации мы с Галой (моей женой) проехали Японию вдоль и поперёк. И всё же стихотворение со своим пониманием минимализма я написал. Но – по порядку.

Нас сопровождала в качестве переводчиков семья Тибулевиной – Александр и его жена Каори, коренная японка, абориген из айнов, населявших японские острова с древнейших времён. Всю их поездку с нами оплачивал наш сын. Так что для них, кроме всего прочего, это мероприятие было выгодной командировкой.

Начало сентября. По-летнему тепло. Мы ехали из Саппоро на живописнейшее озеро Тояко, распо-

ложенное в кратере вулкана, и так получилось, что в двадцати километрах от нашей магистральной дороги находилась деревня, в которой жила мать Каори. Мы предложили заехать к ней и очень удивились, что заезжать к маме нельзя, потому что Каори загодя не предупредила маму, что по пути заедет к ней. Мы с Галой очень удивились, что родную маму надо предупреждать о визите (совершенно другой менталитет), но внешне, глядя на Сашу Тибулевича (ни на что не реагирующего), не выразили удивления.

Сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что более таких путешественников, как мы, нигде нет. И вот почему. В октябре, возвращаясь с острова Хоккайдо на остров Хонсю, мы единогласно решили, что поедem на поезде «Кассиопея» под Сангарским проливом.

Нам с Галой как иностранным путешественникам достался вагон с душем в купе. Семья Тибулевиной пришла к нам посмотреть на душ, как на что-то новое в сервисе. Каори уведомила нас, что заказала в наше купе шампанское. Так как шампанское задерживалось, Саша Тибулевич решил опробовать душ. Так сказать, с пользой убить время.

Слава богу, как он ни бился над кранами и задвижками – вода не пошла. (Шампанского всё ещё не было.) И вот, наконец, из вагона-ресторана появился официант с шампанским. На подносе празднично позванивали и поблёскивали сверкающие фужеры и всевозможные инструменты для сервиса. И тут совершенно неожиданно по радиотрансляции объявили, что надо срочно занимать свои места – поезд отправляется.

Официант и Тибулевиной немедленно побежали в свои вагоны. И через минуту-другую поезд сдвинулся с места. Точнее сказать, рванулся и застыл. Потом, без всякого объявления по радио, усиленно стал набирать ход и неожиданно опять встал как вкопанный. Фужеры, словно красивые птички, резко взлетели к потолку и, падая на пол, взрывались, как гранаты. Бутылка шампанского, точно снаряд, ударила в моё смотровое окно (окно оказалось бронированным) и, подпрыгивая, залетела под кровать. Я мастерски забаррикадировал её одеялом. Она билась под ним, как живая.

Пугаться событий, происходивших в тоннеле, не было времени. Для нас битва за жизнь происходила непосредственно в пространстве вагона. Мы изо всех сил держались за металлические спинки кроватей, потому что раз за разом вагон встряхивало с такой силой, что, казалось, он не выдержит и разойдётся по швам соединений. По радиотрансляции прошло какое-то извещение, но переводчиков не было.

Поезд «Кассиопея» стал уверенно набирать ход. Мелькавшие электрические фонари в тоннеле стали превращаться в огненные линии. Гала сообщила, что сейчас больше всего боится холодной воды. Душевая приоткрылась, и ручка душа, похожая на старинный корабельный телефон, высываясь из щели, стала биться в её плечо. Я подтянулся и задвинул дверь. Из-под матраса выпрыгнула бутылка шампанского.

По моим прикидкам, нас с двух сторон останавливали четыре тепловоза. Догнав сзади – притормаживали. А спереди – не давали разогнаться.



Слева направо писатели:
Виктор Слипечук, Игорь Михайлов,
Александр Балтин

Где-то в 06:30 утра мы наконец-то выбрались из-под Сангарского пролива в каком-то селении на острове Хонсю.

Было хмурое, серое утро. Нам оно показалось мягким и тёплым. Люди вокруг были неестественно задумчивы и старались смотреть под ноги. Гала порывалась идти искать Тибулевичей, но я обнял её, и она, трепыхнувшись, застыла. И мы так долго-долго стояли не шевелясь. Потом увидели бегущих к нам Тибулевичей. «А мы почему-то вначале побежали в другую сторону», – смеясь, сообщила Каори.

Они сказали нам, что никогда ничего подобного не было... Произшёл какой-то электронный сбой. Разом заглохло компьютерное оснащение поезда и тоннеля.

Вечером того же дня, а точнее, ночи, написалось стихотворение «Случай в тоннеле под Сангарским проливом», которое посвятил **великому Хацуо Рояме**¹. (Мы как раз ехали в Хиросиму на встречу с ним).

СЛУЧАЙ В ТОННЕЛЕ ПОД САНГАРСКИМ ПРОЛИВОМ

Великому Хацуо Рояме

*Вчера, рассматривая слайды,
Я застывал, от счастья млея.
О, виды острова Хоккайдо!
О, поезд наш «Кассиопея»!*

*Зеленоватый, словно щука,
Он мчал в иные небеса.
Но от компьютерного глюка
Вдруг отказали тормоза.*

*Мы пронеслись под проливом –
Рулетка русская вращалась.
Однако мы остались живы,
Однако смерть не состоялась.*

*Но после этой одиссеи
Я как-то шире жизнь приемлю.
В созвездии Кассиопея
Я побывал, сойдя на Землю.*

*В каком-то смысле стал японцем,
Что глюком бездны осенён,
И знаю, как прекрасно солнце,
Что на полотнах их знамён.*

Октябрь 2007

– Поэзия и проза... в принципе, они – во многом – противоречат друг другу, хотя и составляют собой единое целое литературы. Как вы совмещаете жанры? Возможно, поэтический вектор своеобразно уводит в прозаические области, или наоборот?

– Всё, что касается творчества, процесс, как мне кажется, настоль-

ко личный, что у всех он происходит по-разному. Потому что стихи и проза приходят даже к одному и тому же автору различными путями. В поэзии иногда приходит первая строка или последняя. Или – четверостишие. Слёту запишешь строку и занимаешься дальше чем-то своим, более неотложным. Записи множатся, и через какое-то время (бывает, что через год, а то и два) неожиданно натолкнёшься на прилетевшую строку. Прочтёшь. И вдруг чувствуешь – строка не отпускает...

Иногда таким же образом пишутся и короткие рассказы. Но в целом проза приходит временными событиями, которые держатся на людях, на их жизненном опыте. В основе поэзии – чувство. В основе прозы – жизненный опыт. Иногда молодой поэт (по возрасту почти ребёнок) затрагивает в своём стихотворении такие глубинные чувства, что даже семидесятилетнему человеку такое глубокое проникновение кажется чудом. Никакого чуда нет. По Шопенгауэру, чувственная составляющая, скажем так, формируется в человеке до пяти лет. Так что, на мой взгляд, никакого противоречия в поэзии и прозе нет. Разность основ – есть, присутствует, но она настолько неуповимо изменчива, что является проблемой не столько для литераторов, сколько для искусственного интеллекта. Кажется, эту границу без потерь чисто человеческих качеств невозможно будет преодолеть.

– Рифма необходима вам? Чем она является – внутренним импульсом, элементом, связующим строки так, чтобы подчеркнуть мысль или выстроить образ? Просто – вариантом сладчайшей словесной игры?

– Рифма – это созвучие концов стихотворных строк. И, конечно, она является внутренним импульсом, связующим строки, как вы говорите, чтобы подчеркнуть мысль или выстроить образ. Иногда это некий вариант «сладчайшей словесной игры».

Не понимаю, почему сладчайшей, а не горестной? Впрочем, это ваши вопросы и формулировки.

Можно очень многого добиться, используя рифму. Чингисхан, будучи гениальным, но безграмотным человеком, использовал рифму, составляя кодекс законов – Ясу, регламентирующую жизнь монгола. Он считал, что Ясу, свод законов, должен знать каждый монгол наизусть. Будучи безграмотным, Чин-

гисхан с детства усвоил, что рифма помогает лучше запоминать текст, и использовал рифму, чтобы каждый воин его войска жил по строгим законам Орды. Так что предполагать, что Орда была тёмной массой, не ведающей никаких законов и установок, – категорически неверно.

Наполеон, захватив Москву, ждал, что Россия выйдет к нему навстречу и склонится перед ним как победителем. Нет – не склонилась. И войско Наполеона развалилось и бежало. Потом историки завоевателя утверждали, что Россия повела себя с агрессором как-то не так, не по каким-то принятым в Европе правилам.

Но вернуться к рифме. К её пониманию Чингисханом (и не только потому, что по лунному календарю в ноябре в Монголии отмечали 861-летие со дня его рождения). Работая над поэмой «Чингис-Хан» и не имея под рукой никаких всеми признанных научных изысканий по этой теме, я сосредотачивался на поэтическом оснащении поэмы. У меня была уверенность, что любые недочёты научного плана легко компенсируются самим поэтическим великолепием поэмы. Вот у Пушкина есть прекрасная рифма «шуба – шума». Надо и мне привести что-то подобное.

В главе четвёртой приводится разговор Чингисхана с великим даосским монахом Чань Чунем, который «На девяти журавлях / Привёз неземную славу». Там есть строки:

*«Тебе знать, Каган, не лишне,
Что выбран и день, и час,
Когда призовёт Всевышний
На Синее Небо нас.*

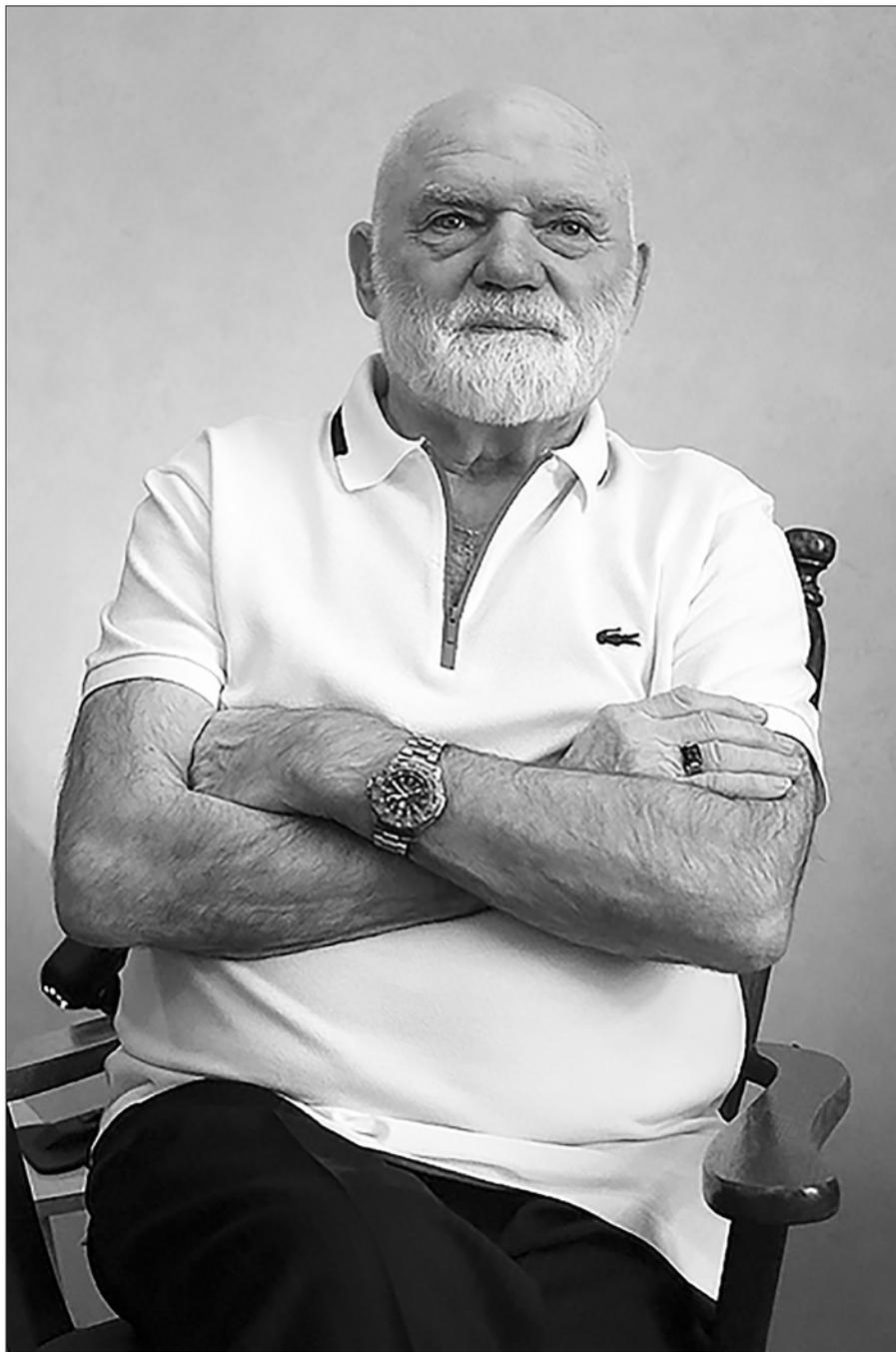
*Пред ним мы предстанем вместе,
Чтобы держать ответ:
Ты, как монарх, – наместник,
Я, как монах, – поэт».*

Да, это внутренняя рифма «монарх – монах», и мне она очень нравилась и сейчас нравится. Но суть не в этом, а в том, что даосский монах и Чингисхан действительно умерли в один день и час. И я ничего не знал об этом. Тогда не было Интернета. Но когда узнал – был ошеломлён глубиной проникновения рифмы в материал. Рифма, как бы сама по себе «ведая» об отношении к ней Чингисхана, преподнесла ему подарок. А нам «...намёк, добрым молодцам урок» о великой, до конца не познанной силе, таящейся в хорошей рифме.

¹ Хацуо Рояме – чемпион Японии по каратэ-до Кёкусин 1973 года. Основатель и президент Международной организации каратэ-до Кёкусин-кан. Автор ряда книг по философии и практике каратэ. Две части его автобиографической книги «Моя жизнь – каратэ» и книга «На пути к постижению мастерства» изданы в России.

ПРОЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Виктор СЛИПЕНЧУК,
Москва



ВОЛШЕБСТВО ВЕЩЕЙ

РАССКАЗ

Однажды я заметил, что некоторые предметы могут увеличиваться и становиться больше самих себя. Какой-нибудь маленький болтик, гайка или золотник с ниппелем вдруг становятся такими большими, что за ними не видно других предметов.

Впервые это случилось в пристройке к дому, в которой у нас хранились

погнутые велосипедные рамы, колёса и всякие другие вещи, которые мои старшие братья притаскивали с военной свалки возле аэродрома. Много раз мама говорила отцу, чтобы он на подводе куда-нибудь подальше вывез эти железяки, тогда бы она, наконец, навела порядок в пристройке. Но отец остался глух, он словно не слышал.

Старший брат Вовка (он старше меня на целых шесть лет) всегда очень боялся, что когда-нибудь отец услышит. По Вовкиному зову, мы с Эдькой, средним братом (он на два года младше Вовки), немедленно бросали всё и включались в уборку. Мы рассовывали железяки по углам, навешивали колёса на специальные настенные крюки, а огромный ящик со всякой всячиной, который мама называла сундуком с хламом, задвигали под верстак, на котором намертво были укреплены тиски и большая железная коробка с инструментами: ключами, молотками, стамесками и напильниками.

Моя роль была незначительной. Я либо что-нибудь подавал, либо стоял где-нибудь в сторонке и предметы, которые Вовке и Эдьке могли пригодиться уже сегодня, клал в брезентовую сумку. Особенно много таких предметов было в большом ящике. Над которым, прежде чем его задвинуть, мы подолгу сидели на корточках. Братья отбирали что-нибудь приглянувшееся, а я просто смотрел. Чего здесь только ни было: всякие гайки, трубки, пустые баночки, куски медной проволоки, маленькие колёсики, подшипники, уродливые противогазы с гофрированными трубками и банками и ещё много-много такого, чему мы и названий не знали. Так получалось, что во время уборки как раз из этого ящика больше всего предметов попало в сумку.

Однажды Вовка выбрал пустую баночку из-под вазелина, но в сумку не опустил. Он вытащил из кармана красноватую бронзовую медаль и вложил её в баночку.

– Смотрите, – сказал Вовка. – Вложилась как по заказу, тютелька в тютельку.

Мы с Эдькой посмотрели, и я увидел выпуклый портрет вождя, а вокруг него тоненькую каёмочку с маленьким бугорком – ушком для звёнышка, на котором медаль подвешивается к специальной колодке, обтянутой красивой разноцветной лентой. Колодки не было. Да и ушко – кто-то спилил напильником. Вовка использовал медаль как битку в игре в чику.

– Это медаль, наверное, папкина? – спросил я, и братья оцепенели, даже дышать перестали.

– Кто тебе сказал? – встав, строго спросил Вовка, и медаль в баночке вдруг стала такой большой, что он никак не мог закрыть её зелёной крышечкой.

– Никто не говорил.

Я объяснил, что похожую медаль видел в родительской спальне, в верхнем ящике комода под большим зеркалом. Братья переглянулись.

– Ты лазил в комод!? – осуждающе спросил Эдька и тоже встал.

– Нет, не лазил, он был открыт. Я увидел в зеркале несколько коробочек, на одной из них как раз лежала такая медаль.

– Такая медаль – мамина, она называется «За доблестный труд», – сказал Вовка и упрекнул Эдьку за то, что не закрыл комод.

– У меня не хватило сил, ящик заело, он не поддавался.

Эдька оправдывался и напал на меня, будто я специально подсмотрел за ним, чтобы заглянуть в комод. Тогда я ещё раз повторил, что не заглядывал, а увидел медаль в зеркале.

– Не вздумай никому сказать, не проболтайся, – предупредил Эдька.

– Ну вот ещё, – сказал я, а Вовка махнул рукой, мол, пусть говорит, всё равно папка когда-нибудь узнает.

– Не узнает, – возразил Эдька.

Он сказал, что ни мама, ни папка не надевают медалей, потому что на Доску почёта они уже сфотографировались, а для газеты всё равно, чья это медаль, потому что главное – документы, которые у них разные.

– Они что, документы приколаят себе на грудь? – сказал Вовка.

Мы весело засмеялись, мы представили папку с множеством документов, развешенных на груди.

– Всё, хватит, – оборвал Вовка. – Глупый смех может накликать что-нибудь плохое.

Он присел на корточки, и мы тоже присели. Вовка стал искать железную трубочку для Эдьки, а мне сказал принести из летней кухни какую-нибудь самую большую сырую картофелину. Я принёс, а они всё ещё никак не могли найти нужную трубочку. Наконец, Вовка сказал, что нашёл. Он засунул руку так глубоко в ящик, что ему пришлось привстать. Мы стали освобождать Вовкину руку, чтобы он мог вытащить трубочку. Она несколько раз выскальзывала, и всё же он её вытащил.

Это была трубочка от ученической ручки, которая с одной стороны закрывалась гильзочкой для чернильного пёрышка, а с другой – для огрызка карандаша. Гильзочек на ней не было, но я сразу узнал её. Ровная и гладкая, она была с обоих концов как бы прямо отпиленной.

Посмотрев через неё на свет, Вовка сказал:

– Отливает сталью, как охотничье ружьё (и сразу трубочка стала большой-большой). Давай патроны! – потребовал Вовка.

Но я не знал, где они могут быть. Я шарил глазами по сторонам. И тогда

Эдька подскочил и выхватил картофелину. И я отчётливо увидел, что и она стала другой, намного больше, чем я думал. Вовка воткнул в неё трубочку и с мясом выломил застрявшее в ней содержимое.

– Вот, смотрите, патрон, – сказал Вовка и показал на отверстие трубочки, полностью забитое картошкой. – Но это ещё не жиган, не пуля.

Он взял гвоздь и шляпкой чуть-чуть продвинул застрявшую картошку вглубь трубочки.

– Вот теперь ружьё заряжено.

Вовка сказал, чтобы Эдька стал в проёме открытой двери лицом во двор, иначе пуля может попасть в глаз.

– Ты же не белка. Это белок бьют только в глаз, чтобы не испортить шкуру.

Он спросил: знали мы об этом? Я не знал, и трубочка стала ещё больше. Вовка дунул в неё с другого конца, и пуля с хлопком попала в Эдькино ухо и, отскочив, упала мне под ноги. Она была похожа на улитку, вылезшую из своего свёрнутого домика.

– Брось пулю в помойное ведро, она использована! – сказал Вовка и опять воткнул трубочку в картошку.

Он вновь приготовил заряд, но я не выбросил использованную пулю. Я подоткнул её под резинку трусов и, пока стоял мишенью для Эдьки, потихоньку отламывал от медной проволоки два маленьких кончика.

– Валерка, не шевелись – мешаешь целиться, – возмутился Эдька, и тогда я сказал, что он тоже шевелился.

Он стал спорить, но Вовка сказал:

– Если бы ты не шевелился, я бы попал тебе в голову, а не в ухо.

Вовка разрешил нам стрелять куда попало, но так, чтобы пули вылетали во двор. Во дворе их подберут куры, а из пристройки их придётся выметать, потому что раздавленная пуля, если на неё наступить, становится похожей на обыкновенный плевок.

Всякий раз после выстрела Вовка заряжал трубочку, поэтому он и выбирал, чья очередь стрелять. Больше всех, конечно, стрелял он сам и Эдька, но мне тоже дали несколько раз выстрелить. Картошка стала совсем никакой.

– Всё, финиш, – сказал Вовка и положил её на верстак.

Картошка была похожа на ноздреватый мячик. Но мячиков, усеянных круглыми дырочками, мы никогда не видели, и Вовка сказал, что теперь у этой картошки есть сходство с ёжиком.

– Тогда в неё надо натывать иголок, – сказал Эдька.

– Ну вот ещё, – не одобрил Вовка.

И тогда я вынул из-под резинки пулю, упавшую мне под ноги, и как раз над тёмным пятчком воткнул в неё два приготовленных кончика проволоки.

– А теперь угадайте – что это?

В моей раскрытой горсти на ладони лежал самый первый заряд. Он подсох и слегка согнулся и с проволочками был точь-в-точь как улитка, но без домика.

– На червяка не походит – у червяков рожки, а у этого усики, – сказал Эдька. – Таких червяков нигде не бывает.

Вот и хорошо, что не бывает, – подумал я, и мне захотелось выбросить свою поделку в помойное ведро, потому что никаких червей я не переношу. Я брезгую ими, даже когда они полезные, как шелковичные. Но тут вмешался Вовка, он сказал, что если бы рядом лежала ракушка от улитки, то он бы сразу подумал, что это настоящая улитка.

– У неё и мордочка тёмная, как у настоящей. Ты смотри, как здорово придумал?! – восхитился Вовка, и улитка на моей ладони стала большим-большим бриллиантом.

Братья приблизились, чтобы лучше рассмотреть моё сокровище, и Эдька сказал:

– Вовка, ты просто не знаешь нашего Валерку, он иногда может что-нибудь такое хорошее сделать, что никто-никто никогда не сделает.

Моё сердце переполнилось. Мне такого братя ещё не говорили. И я не выдержал. Неожиданно для себя изо всей силы сжал руку, моё сокровище хрустнуло и раздалось. Я тут же разжал кулак, но было поздно, всё уже произошло.

– Ну вот, – сказал Эдька. – Что ты наделал, ты же превратил улитку в настоящий плевок.

Я готов был зареветь от обиды на самого себя, но тут Вовка положил в мою руку остатки картошки.

– Иди, соскреби свой плевок ёжиком и всё это выбрось в помойное ведро. И запомни: главное – не то, что ты сделал, а что сумеешь сделать, и это находится в голове и там оно никогда не испортится.

Он посмотрел на порядок, который мы навели в пристройке, и опустил коробочку с медалью и трубочку на дно брезентовой сумки. Потом переломил её, как переламывают голену изношенного сапога, и положил в уголок огромного ящика. Встал, ещё раз во все глаза глянул сверху

и на всякий случай привалил брезентовую сумку кожухом от магнето.

– Всё, будем задвигать! – объявил Вовка, и они с Эдькой стали задвигать ящик под верстак.

Я тоже успел и немного помог. Когда встали и уже хотели выйти из пристройки, Эдька сказал, что если бы ушко медали было целым, то её можно было бы вернуть на место.

– Эх ты, – сказал Вовка. – Ты думаешь, я нарочно спилил?! Нет – случайно вышло.

Он объяснил, что обернул медаль суконной тряпочкой, чтобы не повредить, зажал тисками и взял напильник.

Вовка выудил из инструментов трёхгранный напильник с деревянной ручкой и показал нам.

Вовка хотел только чуть-чуть надпилить медаль возле ушка, чтобы посмотреть: это такой красноватой краской она покрашена или есть на свете такая редкая красная бронза. Он осторожно установил напильник, а когда потянул его на себя, медаль неожиданно крутнулась в тисках, и напильник, соскользнув, снёс ушко до самой дырочки. Вовка резко бросил напильник на инструменты.

– Это же – зверь, почти как холодное оружие.

Напильник и раньше казался мне очень большим, а теперь он был больше ржавого японского штыка, которым по осени мы рубили стебли кукурузы.

После своей улитки я очень глубоко понимал Вовку. Настолько глубоко, как будто это я сам нечаянно снёс ушко медали.

Мы замолчали, а Вовка, глядя на нас, неожиданно повеселел.

– Не переживайте, если папка возьмётся за ремень, я убежу из дому.

– Как это убежишь?! – не поняли мы.

– Очень просто, буду спать на чердаках колхозных амбаров или пустых рисозаводских складов.

– Навсегда убежишь? – спросил Эдька с ужасом и восторгом.

– Навсегда, если папка не простит.

– А ты бы простил? – спросил Эдька.

– Нет, не простил. Эта медаль дороже некоторых военных, а у папки сплошные нервы из-за базедовой болезни.

Мы стали расспрашивать Вовку, где он будет кушать или начнёт ходить по дворам, как побирушка? И что же со школой? Он теперь что – нигде не будет учиться?

На все вопросы Вовка отвечал нехотя, потому что сам не знал, что с ним будет, когда убежит. На первое время он возьмёт горсть мелочи из

копилки, а там посмотрит. Эдька сказал, что в копилке все деньги Вовкины, он их выиграл в чикку, так что никто ничего не скажет, если он заберёт всю копилку. Вовка возразил:

– Только горсть, а то получится – мы копили деньги, чтобы я убежал из дому.

– Эх, Вовка, теперь так, как ты, никто не сыграет с лётчиками, – с грустью заметил Эдька и спросил: – Наверное, медаль возьмёшь с собой?

– Нет – она же не моя, – сказал Вовка, и мы замолчали.

Я вспомнил, как приходили военные лётчики, чтобы поиграть в чикку. Они всегда были радостными и чисто одетыми, в городских шёлковых теннисках. Весёлые, смеющиеся, они приходили на нашу улицу, как на праздник. А для нас они сами были праздником. Лётчики могли обыграть в чикку любого из пацанов, кроме Вовки. Бросая битку, Вовка до того сосредотачивался, что все затихали. Он никогда не промахивался. Он бил биткой с лёта по столбику монет, и они, как брызги, разлетались во все стороны. Мы с Эдькой бросались собирать мелочь, а Вовка стоял и лишь указывал нам босой ногой на отдельные далеко откатившиеся монеты.

Лётчики чувствовали, что Вовка играет в чикку не только из-за денег. Он показывает им свою ловкость и меткий глаз. Это лётчиков задевало и подзадоривало. Они горячились, обещали наказать Аса, так они называли Вовку. А он стоял, руки в карманах обтрёпанных шаровар, и смотрел вдаль с таким видом, будто разговор шёл не о нём. Он даже для нас с Эдькой становился немного чужим. Так что сначала, когда мы бросались собирать деньги, лётчики нас останавливали. Но когда узнали, что мы – Вовкины братья, извинились, потому что поняли, что у такого, как Вовка, просто не может быть плохих братьев.

Когда Вовка отсутствовал, за ним прибегали Герка Воронков и Витька Гребенюк (соседи, старшеклассники с нашей улицы). Они сообщали, что его зовут лётчики, хотя, чтобы Ас-истребитель у них истребил мелочь в карманах.

Но старшая сестра Рая, которая училась в техникуме во Владивостоке и на каникулах была в доме главной, никогда не отпускала Вовку, пока он не выполнит свою работу – не нанесит воды в бочку для коровы и не наколет дров. Тогда пацаны начинали помогать Вовке, даже лётчики иногда кололи дрова.

Рая сидела на крыльце в чёрной блестящей шляпке с ниспадающей

на глаза сеточкой, усыпанной белыми звёздочками, и через неё читала газету «Черниговский колхозник». Она наблюдала, чтобы всё в точности было выполнено. Только тогда она отпускала Вовку. Уходя, лётчики всегда интересовались: «Ну и что там пишут?» – «Пишут, что наши военные лётчики самые лучшие в мире», – отвечала Рая, и они все смеялись от удовольствия.

Начиная игру, Вовка ставил условие – не мухлевать, играть по-честному. По-честному его никто не мог победить. Его и в вышибалу сразу выбирали капитаном команды. Все заранее знали, что там, где наш Вовка, там – победа.

И мне очень обидно стало, что Вовка убежит из дому и превратится в попрошайку. И я сказал, что когда он убежит, пусть не попрошайничает, потому что мама с утра нарезает хлеб каждому. И мы с Эдькой будем приносить его порцию – куда он скажет. И ещё я от своей буду отламывать.

– Откуда ты знаешь, что мама станет нарезать Вовке его порцию? – удивился Эдька. – Она же узнает, что он убежал.

– Знаю, – сказал я. – Мама никогда не согласится, что у нас нет Вовки, она будет нарезать ему хлеб всегда.

Вовка подошёл и дал мне подзатыльник. И стал смотреть в даль проёма так, словно он был один, а нас с ним не было. И я тоже стал так же смотреть, потому что в глазах у меня закипали слёзы. Но не от обиды за подзатыльник, а потому что такого брата, как наш Вовка, нам с Эдькой больше не найти.

Вовки не было дома пять дней. Он рано утром появлялся в глубоком овраге за огородом – мы приносили хлеб.

Грязный, обтрёпанный, весь в репьях и бурьяне, Вовка спрашивал – что отец? Мы говорили, что отец молчит, а мама плачет. А Райка ругается на всех нас. Говорит, что скажет военным лётчикам, чтобы тебя насильно притащили.

– Нет, они не станут, – сказал Вовка и усмехнулся внутрь себя. – Пока вы приходите к складам, они не тронут, они думают, что вы меня охраняете.

Это было так удивительно слышать, потому что вслед за Вовкой все пацаны с нашей улицы и со станции переместились гулять к складам. И мы с Эдькой всегда незаметно появлялись у какого-нибудь склада, но близко не подходили. Мы понимали, что теперь – мы лишние. Мы думали: никто нас не видит, что мы наблюдаем за Вовкой.

Мы тогда не знали, что сами стали такими большими предметами, что нас уже видно отовсюду.

– Смотрите, что у меня есть, – сказал Вовка.

Он вытащил из карманов светлые круглые камешки, из которых кресалом выбивают искры, и стал жонглировать ими. У него получалось ловко, очень ловко, словно у настоящего жонглёра. (Вовка был всё таким же старшим братом – с ним было интересно.) И тут Эдька сказал, что видел его медаль в баночке из-под вазелина на родительском комод. Вовка уронил камешки.

– Знаешь, Вовка, – сказал Эдька. – Завтра утром мы с Валеркой попросим у папки прощения.

– И что вы скажете? – заинтересовался Вовка и, собрав камешки, разложил по карманам моей тужурки.

– Мы скажем, что так делать больше не будем.

Вовка сказал, что мы здесь не при чём. Но если хотим так говорить – он запретить не может, но потом, когда папка отлучит нас, чтобы не приходили к складам, иначе ещё и от него получим.

На следующее утро мы подгадали так, что в летней кухне собрались все. Эдька приказал просить прощения мне, потому что меньшим больше всего прощают.

Когда я стал говорить, папка положил ложку, а мама сразу же села на табуретку возле плиты. Райка на нас даже не взглянула, она от нечего делать стала смотреть в окно.

Папка выслушал, помолчал, нетерпеливо достал из нагрудного кармана баночку с медалью.

– Держи, – сказал он Эдьке. – Отдайте ему эту медаль и скажите, что теперь она его.

Мы уже вылетели из летней кухни, когда, распахнув окно, Райка крикнула вдогон, чтобы не тянули Вовку за стол, а шли в летний душ. Она однажды видела его издали – грязный, как поросёнок.

Вовка ждал нас в овраге. Мы взахлёб рассказали, что папка простил его, что он отдал ему свою медаль и теперь она его. Вовка слушал серьёзно и отстранённо. В нём самом было что-то чеканное, как в медали. И только когда открыл крышечку, он засмеялся. И мы с Эдькой с двух сторон потянули его за руки.

Мы шли втроём, мы шли огородами, и меня распирало от радости. Потому что мы шли домой, потому что мы шли с Вовкой, с нашим старшим братом.

Никогда прежде я не испытывал столь большой радости. Но Райка всё испортила. Она сказала, что, глядя на нас в окно, мама плакала.

КРЫЛАТЫЙ БОЕВОЙ КОНЬ

Сердце торкнулось и побежало-побежало, и я проснулся. Я спал на ватниках, постеленных на полу, и, привстав, сразу увидел две конфеты. Настоящих, в прозрачных фантиках. Я подоткнул их под резинку трусов и выскочил на улицу. Обычно мы с мамой приходили в колхозный детсад первыми: она как заведующая, а я – как слишком маленький, которого поутру не с кем оставить.

Сегодня она меня не разбудила, и я, как большой, сам побежал в детсад. Всё было чудесным. Солнце уже поднялось, и улица была как на ладони. Две конфеты вызвали массу неожиданных мыслей. Они просто взрывали мой мозг внезапно открывшимися возможностями. Десятки решений бурлили в моей голове, и я наконец решил, что одну из конфет дам Павлику Башта. Мальчику из старшей группы, который бегал лучше всех, но не хотел играть с нами, мальчишками из средней. У меня возник план добрить его. План был замечательным, но Павлик мог не согласиться стать моим боевым крылатым конём всего за одну конфету.

За две он, конечно, не устоит, размышлял я. Но вторую конфету мне хотелось попробовать самому. Однажды я уже пробовал такую в прозрачном фантике. Очень, очень сладкая конфета. Намного слаще сахара. Мне захотелось удостовериться, я даже приостановился.

Но если он не захочет за одну?! Мысль обожгла, я со всех ног припустил по дороге что было сил. Если он не захочет, то я ему скажу: бери вторую, чёрт с тобой! Так чертыхается повариха, когда водовоз требует полного трудодня за одну внеплановую бочку.

Подбегая к детскому саду, увидел многих мальчишек из старшей группы, вылезших на забор. Павлика среди них не было.

Мама стояла возле летней кухни в окружении воспитательниц. Все они были в белых халатах (по ним мы легко отличали их от других работников). Чтобы не привлекать внимания, я побежал к другой калитке. Я не хотел показывать, что моя мама – заведующая детским садом, чтобы потом меня не дразнили «маменькиным сыночком».

Меня окликнула Мария Васильевна, воспитательница нашей группы. Приоткрыв калитку, сказала, чтобы помыл руки. Сейчас будем завтракать на веранде, а потом всем детским садом пойдём на речку купаться. Сообщение о том, что после завтрака всем детским садом пойдём на речку, словно подбросило в огонь сухого хвороста.

Я пригнулся, чтобы никто не думал, что я маменькин сыночек, и опять со всех ног помчался к главному корпусу. Я только один раз мельком оглянулся на маму (она стояла ко мне спиной), но всё равно по лицам воспитательниц догадался, что мама молчаливо усмехается мне какой-то своей далёкой мыслью.

В такой день не жалко будет отдать и вторую конфету. Я представил, как Павлик мчится по зелёному пойменному лугу, а я не отстаю, потому что держусь за удила, крепкие верёвочки из парашютных строп, которые он приносит из дому как свою личную сбрую. Меня охватила внезапная радость. Для такого сильного скакуна, как Павлик, не жалко никаких конфет, думал я и в умывальной нос к носу столкнулся с ним.

– А, это ты! – сказал Павлик.

И предупредил, что если в другой раз буду так лететь, то он не посмотрит, что моя мама – заведующая детсадом, и подставит мне ножку, чтобы я разбил нос.

Он нарочно сказал про маму, чтобы обидеть, он знал, что никому не понравится, когда ко всему, что ты ни делаешь, примешивают маму.

– Где твоя сбруя? – спросил я.

– А что?! – испугался Павлик.

– А то, что хочу попросить тебя побыть моим боевым крылатым конём.

– Ты?! Меня?! Боевым крылатым конём?

Павлик стал насмехаться надо мной.

– Ты кто такой? – спрашивал он меня. – Ты думаешь, если твоя мама – заведующая детсадом, то я соглашусь?!

Он бил очень больно, но я молчал. Я знал, что Павлик будет так говорить, потому что на его месте каждый бы так говорил, потому что Павлик – это лучший крылатый боевой конь.

– Да ты знаешь, кем был мой отец до войны?

Павлик побледнел, и я подумал, что всё сорвалось, потому что когда-то давным-давно, когда меня и в помине не было, отец Павлика был председателем нашего колхоза, а теперь он с трудом ходит на костылях. И тут на моё счастье зазвенел звонок на завтрак.

– Не торопись! Завтракать будем на веранде, – сказал я и предложил, что за каждую его пробежку от забора до забора я согласен быть конём Павлика столько раз, сколько он захочет.

– Ну ты совсем уже белены объелся, – сказал Павлик и побежал на завтрак.

Пока умывался, слышал, как в старшей группе он объявил, что завтракать будем на веранде. По голосу Павлика догадался – он простил меня и гордится новостью. Если успею, скажу ему, что после завтрака пойдём на речку. Я представил, как мы бежим по траве, по золотым одуванчикам и ромашкам, набивающимся между пальцами, и до того разгорячился, что пришлось подставлять голову под ручкомойник. Холодная вода освежила, и я поспешил на веранду.

Мне опять повезло. Павлик ждал меня.

– Смотри, – сказал он и растопырил боковой карман на своих коротких штанах с отстёгнутыми ляжками.

Карман был набит парашютными стропами.

– Но я всё равно не буду твоим крылатым конём, ты плохо бегаешь, – сказал Павлик и стал задаваться, что от забора и до забора слишком мало места для крылатого коня. – От забора и до забора бегают лошади-водовозки.

– После завтрака мы пойдём на речку, – сказал я. – А теперь смотри!

Я вытащил из-под резинки две настоящих конфеты в прозрачных слюдянистых обёртках и одну пообещал отдать Павлику, если он согласится быть моим крылатым конём. Он как увидел конфеты, так сразу же и сглотнул слюну.

– Настоящие, в фантиках, – воскхитился он, а я опять спрятал конфеты под резинку, потому что к нам подбежал Мишка Рубанюк.

Мишка был старше меня на пятнадцать дней, а ростом был маленьким, словно из младшей группы. Его интересует всё, что интересует меня. Он и за столом сидит рядом со мной, а вчера попросил, чтобы я разрешил ему иногда говорить в группе, что он

старше меня. Я не разрешил. Я сказал, что пусть вначале обгонит меня ростом, а потом говорит. Мишка покраснел, как варёный рак, потому что понял, что его разоблачили, что он хочет быть выше ростом за счёт других.

– Смотри, – подбжевав, сказал Мишка и растопырил карман точь-в-точь как Павлик.

Я увидел пучок смятого ворсистого шпагата, перетянутого суровой ниткой, и нарочно загородил карман, потому что сразу догадался, что это не шпагат, а жалкая сбруя для боевого коня. Конечно, она не шла ни в какое сравнение со сбруей из настоящих парашютных строп, внутри которых протянуты крепчайшие шёлковые нитки, которые многие рыбаки используют на лески. Я не хотел, чтобы Павлик увидел Мишкину сбрую, но он увидел и сразу стал насмехаться над нами.

– Ой-ё-ёй, какая хорошая сбруя! – деланно засмеялся Павлик. – Как раз для лошади-водовоза.

Он побежал за стол в свою старшую группу. А я сказал Мишке, чтобы он не садился со мной за столом – я с ним сидеть не буду. Мишка сгорбил, стал ещё меньше. И опять покраснел, как рак. Так тебе и надо, подумал я. И ушёл от него. И нарочно сел в самой гуще пацанов, чтобы рядом не было ни одного свободного места. Мишка Рубанюк просто опостылел мне своей дружбой.

После завтрака нас повели на речку. У старших была своя воспитательница, а с нами была Мария Васильевна. У шоссейной дороги мы смешались со старшими, а за дорогой нас снова разъединили, потому что старшим надо было идти на вторую ямку (она дальше), а нам – на третью (ближайшую излучину, где море песка, где без дождей речка совсем обмелела).

Мишки Рубанюка я не видел, после завтрака он старался не попадаться мне на глаза. Зато за шоссейной дорогой Павлик Башта сам подошёл ко мне.

– Давай свои конфеты, только не хнычь, если упадёшь и нос разобьёшь.

Я напомнил Павлику, что мы условились за одну конфету. Но он сказал, что как только наденет сбрую, мы помчимся сразу до второй ямки, минуя третью.

– Это тебе не от забора до забора. Мы вместе посмотрели в даль пойменного луга, усеянного золотыми цветами одуванчиков, а потом он вытащил из кармана свою велико-

лепную сбрую с двумя поперечными перехватами верёвочками и сказал:

– От второй ямки до третьей, так и быть, ты будешь боевым крылатым конём.

Это была неслыханная удача. На виду у всех проскакать боевым крылатым конём самого Павлика. Но я не стал выдавать свою радость и, вытащив из-под резинки конфеты, сказал:

– На, чёрт с тобой!

Я никогда не видел вблизи сбрую боевого крылатого коня, а только на Павлике. Теперь она лежала на траве и оказалась намного лучше, чем я думал.

Если ты боевой крылатый конь, то надо накинуть стропу на плечи, пропустить под руками, и первая поперечная верёвочка, что ближе всего к спине, становится чересседельником, а другая, что ближе к наезднику, получается тачанкой-ростовчанкой. Она удерживает поводья, чтобы они не распадались и не запутывались. Если настала очередь наезднику стать конём, то ему не надо никого ждать, а надо сразу запрягаться в сбрую со своего конца.

У этой великолепной сбруи много, очень много неожиданных значений. Но пока она лежала на траве, я хорошо рассмотрел её и понял, что только пусть придёт время, я сам сделаю такую, а может быть, и лучше. И оттого, что я понял, такая радость меня охватила, что я не мог стоять на месте. Всё моё тело трепетало от нетерпения.

– Павлик! Давай помогу!

– Вот ещё, – сказал Павлик и сообщил, что конфеты сосательные.

Он одну конфету положил в рот, а другую – вместе с фантиком в карман. Но меня уже не интересовали конфеты. Я сгорал от нетерпения. Наконец, Павлик облачился в боевого крылатого коня, и мы помчались.

Ликующие лица, смеющееся солнце и простор неба и луга я схватывал глазами, как птица, не чувствуя ног.

– Губкин! Башта!

Я слышал этот оклик. Но сердце не отзывалось. Простор жизни переполнял меня, и я не мог остановиться. За стеной ивняка Павлик замедлился, и я чуть не сбил его с ног.

– Хватит! – выдохнул он. – Мы уже на первой ямке.

Тут только я увидел за ивняком излучину речки и взрослых, ныряющих ласточкой с крутого берега.

– Теперь твоя очередь быть конём, – сказал Павлик.

Я не стал ждать, пока он распряжётся и быстренько со своего конца надел сбрую.

– Ты, наверное, где-нибудь подсмотрел, что она двусторонняя?! – удивился Павлик.

Я промолчал. Я не хотел тратить время на разговоры.

– До второй ямки. И хватит, мы слишком далеко убежали, – предупредил Павлик и предложил: – Хочешь, я подеюсь и откушу тебе полконфеты?

– Нет, не хочу, – сказал я, потому что никакие конфеты теперь не могли сравниться с тем, что вдруг открылось мне.

– А я и не знал, что ты так хорошо бегаешь, – сказал Павлик, и я засмеялся, потому что теперь знал, что это была правда.

И мы опять побежали. И опять простор зелёного луга и неба вскакивали в меня и переполняли сердце. Павлик не успевал за мной. Стропы то натягивались, то ослабевали, но это только прибавляло сил. Я бежал галопом, как самый настоящий крылатый боевой конь. Как только чувствовал, что Павлик сейчас натянет поводья, я, рванув, подпрыгивал, бросаясь вперёд всем телом.

Из-за стены ивняка выбежали мальчишки старшей группы.

– Вот они, вот они! – кричали они, расступаясь.

Павлик бросил поводья, и я на ходу, не останавливаясь, сбросил сбрую. От одинокой ракиты отлепился маленький Мишка Рубанюк. Я узнал его, я узнал бы его и за сто километров. Он стал спускаться к речке, а издали казалось, что он погружается в землю. Мне что-то кричали и Павлик Башта, и другие пацаны, но я не слышал ничего. Я не хотел слышать. Простор неба и луга вошли в меня, и я растворился в них.

Когда выбежал на берег третьей ямки, все уже были заняты своим делом. Кто-то строил домики на песке. Кто-то по-лягушачьи плашмя прыгал на воду. А большинство бегало туда-сюда, обрызгивая друг друга. Вода и солнце, шум и гам были рядом, но не касались меня, и я со всем своим неохватным простором решил прыгнуть в этот ликующий мир.

Я кинулся вниз, как птица, как необъезженный крылатый конь. Чтобы ни на кого не наскочить, я взял правее купающихся. Я взял прямо на широкий и рясный куст ивняка. Я знал, что перелечу через него и бомбочкой, поджав ноги, плюхнусь в свободное пространство воды и солнца.

У меня всё получилось. Я ни на кого не наскочил и пролетел над ивняком, словно крылатый боевой конь. Я нарочно не выпрямлял ног, пока не коснулся дна. А когда коснулся, сразу разжался весь, как тугая пружина.

Дно оказалось илистым и вязким. Я засучил ногами и заспешил, чтобы

выскочить из воды. Меня никогда не учили плавать, и я стал барахтаться. Теперь я взмахивал руками, как большая всамделишная птица. И всякий свой взлёт невольно гасил движением крыльев вверх. Я не мог вынырнуть, но страха не было. Глаза сами открылись, и взбаламученная жёлтая муть стала застывать свет, и, чтобы не захлебнуться, я стал пить её.

Совсем рядом над головой засветилась серебряная сверкающая полоска. Я знал, что мне надо хотя бы коснуться её. Хотя бы зацепиться за неё глазами. И тогда я снова увижу и солнце, и весь-весь ликующий день. Но у меня не получалось. Жёлтая вода не давала дотянуться и с каждым взмахом крыльев отодвигала её. И тогда, чтобы приблизиться к ней, я стал пить воду и глазами, и крыльями, и всем-всем своим телом. Вода вливалась в меня, не останавливаясь. От разрывающей рези глаза вылезали из орбит, и, чтобы помочь им, я пил и пил. Но жёлтой воды становилось всё больше и больше. Она вытесняла весь простор жизни, который ещё минуту назад я впервые открыл в себе.

И тогда я замедлил движение рук и перестал взмахивать ими, как крыльями. Я сжался и медленно опустился на дно. Я вновь почувствовал его илистую вязкость, но ни на секунду не забывал о светлой полоске сверху. Я искал её сквозь жёлтую муть и, не отвлекаясь, собирал в себе весь простор жизни, который ещё был во мне, до которого эта жёлтая муть ещё не добралась. Я собирал его в серебряный живой комочек, и что-то необъяснимое вдруг стало поднимать меня.

Я увидел светящуюся полоску и почувствовал, что под сердцем комочек шевельнулся. И тогда молчаливо я шепнул ему: подожди, ещё рано, ещё жёлтая муть может перехватить нас. И мы замерли. Но светлая сверкающая полоска услышала наш разговор и стала тихо-тихо подплывать к нам. Она подплывала всё ближе и ближе, и живой комочек, притягиваясь к ней, поплыл внутри меня к моим глазам. В какой-то момент, словно от электрической искры, я весь разжался и, словно крылатый боевой конь, изо всех сил взмахнул крыльями. Я ударил ими с такой силой, что полоска разорвалась и зазвенела. Она зазвенела, как тысячи сверкающих брызг.

Я увидел солнце, ликующую детвору и одинокого Мишку Рубанюка, испуганно показывающего рукой на круглый лоснящийся мячик. Мячик, медленно всплыл, постоял под кустом, а потом опять медленно погрузился в воду. У меня не было никакой мысли, что этот мячик – я.

Никто не обращал внимания на призывы Мишки, пока Мария Васильевна вдруг не вскинулась вме-

сте с халатом. И уже на бегу резко не откинула его. Она с разгону бросилась в воду, как раз на то место, на которое указывал Мишка. И опять не было никакой мысли, что она бросилась мне на помощь.

Я подумал о маме и сразу увидел её, потому что мои глаза теперь были большими-большими, как небо и как простор нескончаемого дня. Она сидела в летней кухне вместе с поварихой и пила чай. Она подняла стакан, и чайная ложечка вдруг выскользнула из стакана.

– Ой, Боженьки! – вскрикнула мама и выронила стакан.

Он со звоном разбился о железное ведро. Я хотел поднять чайную ложечку, но здесь всё исчезло и забылось.

Я не помнил, как меня откачали и как привели в детский сад. Я вспомнил себя только во время тихого часа. Мы сидели на ступеньках глухого крыльца главного корпуса. Тени больших деревьев ласково шевелили листьями, и все разговаривали боязливо вполголоса. Говорили о злых водолазах, живущих в воде и утаскивающих утопленников. О том, что если бы не Рубанюк, то я утонул бы по-настоящему. Девочка Ольга Вольхина, знаящая все буквы в алфавите, надеялась, что в следующий раз Рубанюк не увидит, и тогда я утону по-настоящему, и водолазы утянут меня, и тогда в группе они все вместе на это посмотрят.

Кто-то сказал, что тонуть – это очень больно, и все сразу зашикали на Вольхину и пообещали: если она утонет, то её спасать не будут, а сразу отдадут водолазам. Вольхина стала хныкать, что боится их. А Мишка Рубанюк сказал, что она хочет всё знать за счёт других. И если она такой останется, то с нею рядом никто сидеть не будет. Он посмотрел на меня, но я промолчал.

Из-за корпуса вышла мама, торопливо взглянула и ушла. Никто не мешал нам сидеть на крыльце во время тихого часа. Я спросил у Мишки:

– А где Павлик Башта?

– Он спит, – ответил Мишка. – Павлик сказал, что если бы ты не утонул, то он бы дал тебе подзатыльник.

Я опять промолчал. Мне было понятно всё. Всё-всё, до самого доньшка. Почему Мишка так говорит и почему – Павлик. И почему мама прибежала и торопливо ушла. И почему Вольхина хотела, чтобы я утонул. Всё-всё я понимал, но это понимание не радовало меня, а лишь навевало грусть открывшейся жизни.

